

Письмо А. А. Краевскому 1844 года

Скажите, кто это меня так горячо любит и так досадно, так жестоко не понял? Тем досаднее и тем грустнее, что любит! Стало, он любит не меня, а мой фантом. Тем грустнее, что признает во мне талант, ибо с вышины падать больнее. Если бы мне сказали: ты начинаешь выписываться, твой талант потерял свежесть — я бы, может быть, не согласился на правах архиепископа Гренадского, но мне бы не было так грустно мне говорят: ты падаешь, потому что мало-помалу миришься с пошлостью жизни и оттого, что дал в себе место скептицизму, миришься потому, что твоя филиппика принимает вид повести, сомневаешься потому, что не веришь в данное направление разума человеческого! Вы, господа, требуя в каждом деле разумного сознания, вы находитесь под влиянием странного оптического обмана, вам кажется, что вы требуете разумного сознания, а в самом деле вы хотите, чтобы вам верили на слово. Ваш criterium разум всего человечества; но как постигли вы его направление? Не чем другим, как вашим собственным разумом! Следственно, ваши слова «верь разуму человечества» значат «верь моему разуму!» — и, что бы вы ни делали, каким бы именем вы ни называли ваш criterium, а той сфере, где вы находитесь, вы всегда придете к этому заключению. А знаете ли, что значит это заключение? Верь моему разуму, следственно мой разум совершенен, следственно я — бог, т. е. вы другою дорогою, но дошли до одинакого заключения с римскими императорами, которые ставили себе статуи и заставляли им поклоняться. Этот роковой ход разума человеческого предвидела Библия в словах «не сотвори себе кумира!». Все мы чувствуем необходимость одной безусловной истины, которая осветила бы весь путь, нами проходимый, но спорим о том, где она и как искать ее. Не называйте же скептиком того, кто ищет лучшего способа найти ее и испытывает для сей цели разные снаряды, как бы странны они ни казались. Скептицизм есть полное бездействие, и его должно отличать от желания дойти до самого дна: медик не знает, какое дать лекарство, это незнание имеет следствием то, что он не пропишет никакого рецепта, — вот скептицизм; медик прописал лекарство, но, возвратясь домой, спрашивает себя: то ли он прописал, нет ли чего более лучшего, — делает опыты, вопрошает опыты других — это не скептицизм, но то благородное недовольство, которое есть залог всякого движения вперед. Пирогов прежде, нежели отрежет руку у живого, каждый раз предварительно отрежет ту же руку у десятка трупов — скептицизм ли это?

Я не могу принять ваш criterium разума человеческого: во-первых, потому, что он неуловим — он агломерат, составленный из частных разумов; идеализация его кем бы то ни было всегда будет произведением индивидуальным, следственно не имеющим характера истины безусловной, всеобъемлющей; во-вторых, потому, что он еще не уничтожил страдания на земле; говорить, что страдание есть необходимость, значит противоречить тому началу, которое в нашей душе произвело возможность вообразить существование *нестрадания*, откуда взялось оно? в третьих, потому, что разум человеческий, как продолжение природы, должен (по аналогии) также быть несовершенным, как несовершенна природа, основывающая жизнь каждого существа на страдании или уничтожении другого. Все эти и многие другие наблюдения заставляют меня искать другого критерия.

Форма — дело второстепенное; она изменилась у меня по упреку Пушкина о том, что в моих прежних произведениях слишком видна моя личность; я стараюсь быть более пластическим — вот и все; но заключать отсюда о примирении с пошлостью жизни — мысль неосновательная; я был всегда верен моему убеждению, и никто не знает, каких усилий, какой борьбы мне стоит, чтоб доходить до дна моих убеждений, отстранять все, навеянное повседневной жизнью, и быть или по крайней мере стараться быть вполне откровенным.

Если бы кто, судя обо мне, не кладя моих мыслей на прокрустово ложе, применил их к собственной моей теории и с этой точки зрения посмотрел на них, то, может быть, много странного перестало бы быть странным и, может быть, тогда бы заметили, что, например, наблюдения над связью мысли и выражения принадлежат к области, донныне еще никем не тронутой и в которой, может быть, разгадка всей жизни человека. Впрочем, я сам виноват во многом; у меня много недосказанного — и по трудности предмета и с намерением заставить читателя самого подумать, принудить самого употребить свой снаряд, ибо тогда только истина для него может сделаться живою.

Наконец, — называйте это суеверием, чем вам угодно, — но я знаю по опыту, что невозможно приказать себе писать то или другое, так или иначе; мысль мне является неожиданно, самопроизвольно и, наконец, начинает мучить меня, разрастаясь беспрестанно в материальную форму, — этот момент психологического процесса я хотел выразить в Пиранези, и потому он первый акт в моей психологической драме; тогда я пишу; но вы понимаете, что в таком моменте должны соединяться все силы души в полной своей самобытности: и убеждения, и верования, и стремления — все должно быть свободно и истекать из внутренности души; здесь веришь чему веришь, убежден — в чем убежден, и нет места ничьему чужому убеждению; здесь $a = a$.

Требовать, чтобы человек принудил себя быть убежденным, — есть процесс психологически невозможный.

Терпимость, господа, терпимость! — пока мы ходим с завязанными глазами. Она пригодится некогда и для вас, ибо, помяните мое слово, если вы и не приблизитесь к моим убеждениям, то все-таки перемените те, которые теперь вами овладели; невозможно, чтобы вы наконец не заметили вашего оптического обмана.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые напечатано: Сакулин П. Н. «Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский». Том 1, ч. 2, 1913. С. 450—453. — По помете А. А. Краевского на подлиннике («письмо князя Одоевского ко мне после появления разбора сочинений его в 10-й кн. «Отечественных записок» 1844 года») датируется началом октября 1844 г.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — журналист, издатель «Отечественных записок» (1839—1884). В № 10 его журнала была помещена статья В. Г. Белинского «Сочинения князя В. Ф. Одоевского». Критик высоко оценивал творчество Одоевского — писателя, у которого «красноречие возвышается до поэзии, а поэзия становится трибуною» передовых идей. Вместе с тем он упрекал писателя в страсти к фантастическому. Со времени «Сильфиды» (1837), по мысли критика, Одоевский «решительно начал уклоняться от своего прежнего направления в пользу какого-то странного фантазма» (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VIII. М., 1955, с. 313). Анализируя «Русские ночи», Белинский обращал внимание читателей на «односторонность и парадоксальность» взглядов Фауста.